

Денис Пожидаев

Я ЕЩЁ МОГУ ТЕБЯ УДЕРЖАТЬ

СВИДЕТЕЛИ ПОРОГА

18+

Денис Пожидаев

Я ещё могу тебя удержать

<https://litres.ru/74584244>

SelfPub; 2026

Аннотация

Жаба умеет удерживать живое там, где тело уже почти сдалось. Способность спасать долго казалась ей достаточным основанием продолжать — пока чужая жизнь не поставила вопрос, на который нельзя ответить одним мастерством. Где заканчивается помощь? Что в человеке действительно его? И даёт ли возможность сохранить право решать, что должно быть сохранено? Телесная мистика и этическая драма о заботе, границах и выборе, который нельзя сделать за другого.

Содержание

Часть первая. Живого слишком много	4
Глава первая. Лучше, чем должно	4
Глава вторая. Перелом, которого не было	13
Глава третья. Живого слишком много	21
Глава четвёртая. Один	28
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Денис Пожидаев

Я ещё могу тебя удержать

Часть первая. Живого слишком много

Глава первая. Лучше, чем должно

Врачи хотели отрезать Павлу ногу. Я решила, что знаю тело лучше врачей. В первом я была права.

Про второе расскажу после. К нему всё и идёт. Пока скажу только, что я не лекарь. Люди зовут это лечением, мне всё равно, как они зовут. Я не чиню. Я держу. Тело само делает всё, что делает: тянет кровь, закрывает рану, сращивает кость, отвечает на повреждение, — а я усиливаю то, что оно делает само, и не делаю за него того, чего оно уже не может. Это узкая работа. Век она меня почти не подводила. В том и беда.

Я скажу сперва пару слов про себя, чтоб дальше было понятно, откуда во мне бралось то, что бралось, — а потом уже про Павла, потому что он того стоит.

Я живу у Порога дольше, чем стоит нынешняя деревня,

что за болотом. Из всех, кто у нашего огня, я, может, самая невидная: Пёс узнаёт человека, Ворон считает смерти, Кот читает, чьё что, — их дело большое, приметное, а моё маленькое, тихое, руками. Я держу живое живым, пока оно живо. Ни воскресить, ни отменить смерть я не умею и не бралась; кто говорит, что знахарка воскрешает, тот знахарки не видел. Я умею одно: услышать в теле то место, где живое ещё держится, но вот-вот сдаст, и подпереть его своей силой, пока тело не возьмёт снова само. Это ремесло без блеска. Люди редко его и замечают: выздоровел человек — ну и слава богу, крепкий оказался; а что кто-то ночь за ночью подпирал в нём гаснущее, того не видно. Меня это никогда не задевало. Невидность — часть работы. Кто лечит напоказ, тот лечит не того.

Меня привела к Павлу его сестра. После Веры к нам стали приходить — не так, как приходили прежде, за приворотом да за порчей, а с тем, чего не смогли больницы. Порог после той ночи будто приоткрыл о себе слух, и люди понесли к Избушке своё безнадёжное. Ольга пришла на третий день после того, как брата привезли с завода. Немолодая уже, тяжёлая в кости, с руками, которые всю жизнь что-то держали, — я такие руки уважаю, они не врут. Она не голосила. Села на колоду, ту самую, где сидела когда-то Вера, и сказала, что брату режут ногу, а он просил не давать, пока он сам не скажет, а сам сказать не может — спит под лекарствами. И что ей сказали ждать до утра, а она ждать не хочет, потому что

до утра решат без него.

Пока она говорила, я слушала не слова. Слова у горя всегда примерно одни. Я слушала её саму: как стоит кровь под этой усталой кожей, как заходится и не может выровняться сердце, как в ней спеклось за трое суток то, что бывает у человека, который не спал и всё это время держал на себе чужую беду. Ольга была здорова тем тяжёлым, поздним здоровьем, какое бывает у много работавших женщин: суставы уже сдавали, спина уже жаловалась, но сердце было доброе, крепкое, из тех, что тянут до конца. Я слушала её и знала про неё больше, чем она сказала: что муж у неё умер рано, что брата она поднимала после того, как их мать слегла, что этот брат ей не совсем брат, а половина всей её родни. Тело не врёт про то, кого мы держим. У неё всё было натянуто в сторону этого Павла, как канат в сторону груза.

Про завод она рассказала коротко, без подробностей, каких не знала: сорвалось, придавило, вытаскивали долго, довели живым. Я и не просила подробностей. Мне подробности рассказала бы сама нога, лучше всякого протокола.

Я пошла. Я в те месяцы много ходила к чужим болезням — расскажу и почему, но не сейчас. Скажу так: у человека всё запутано, у тела всё ясно. Есть повреждение, есть действие, есть исход. После Девочки и после Веры мне хотелось туда, где тело говорит яснее людей. Нога слесаря, раздавленная железом, — это как раз то, где не надо решать, кто перед тобой и чем всё кончится. Надо просто держать живое, пока

ОНО ЖИВО.

По дороге Ольга всё оглядывалась на меня — не с испугом, а с той въедливой недоверчивостью, с какой смотрят на средство, за которое ухватились от безвыходности и в которое сами до конца не верят. Ей было стыдно, что она везёт к брату болотную знахарку вместо того, чтоб положиться на врачей. Я не стала её утешать. Я редко утешаю: утешение — это про людей, а я про тело, а тело от слов не меняется. Я сказала ей одно, и это было честно: «Я не отниму у врачей их работу. Что они сделали хорошо, того я не трону. Я только там, где у них не хватает». Она кивнула. Кажется, ей стало чуть легче — не от смысла, а от того, что я не обещала чуда. Кто не обещает чуда, тому больше веры.

Больница пахла хлором, кровью и той усталостью, которой пахнут места, где долго борются и часто проигрывают. Меня там не видели так, как видят люди друг друга, — я умею быть там, где мне нужно быть, у тела, а не на глазах. Павел лежал на койке, под капельницей, под трубками, под тем тяжёлым сном, который врачи наводят, чтобы человек не чувствовал, как его собирают заново. Левая нога была вскрыта, стянута аппаратом, обложена, — над ней уже поработали, и поработали хорошо, я это сразу слышала руками: кровоток восстановили, мёртвое вычистили, кость свели и держали железом. Врачи не дураки. Это важно помнить с самого начала: они не дураки и не злодеи, они сделали своё чисто.

Я приложила лапу к голени, ниже колена, и стала слушать.

Слушаю я не ухом. Тело говорит иначе: температурой, давлением, тем, как идёт кровь и как ткань отвечает на прикосновение, — живое отзывается, мёртвое молчит, а между ними лежит то узкое, что я и умею читать, — ещё живое, но уже на исходе, то, что можно удержать, если успеть.

Я всегда слушаю по одному порядку, век один и тот же, иначе собьёшься. Сперва — что есть: где тепло, где холод, где кровь идёт полно, а где еле сочится, где ткань упруго отвечает на нажим, а где проваливается вяло, как несвежее. Потом — проверяю это на живость: чуть подтолкну ток и слушаю, отзовется ли, потянется ли за мной, — живое тянется, мёртвое остаётся лежать. Потом — что меняется само, без меня, куда тело идёт своим ходом, к заживлению или к распаду. И только в конце — вывод: где помочь, где не лезть, где уже поздно. Кто перескакивает через порядок, тот лечит своё нетерпение, а не чужое тело. Меня этому никто не учил. Это само сложилось за пять веков в единственно верное.

Под коленом было тепло, ровное, доброе — там тело держалось само, ему хватало. А ниже, к щиколотке, тепло редело. Кровь туда доходила плохо — врачи сшили сосуд, но сосуд был на пределе, и часть тканей за ним висела на волоске: ещё живая, ещё способная, но день-другой — и отпадёт, и тогда придётся резать, как они и говорили, ниже колена, чтобы спасти остальное. Это была честная их правда. Тело не тянуло туда достаточно жизни, чтобы удержать стопу.

Не тянуло само. А я умею усилить то, что тело тянет.

Я это и сделала. Не создала ничего нового — я не умею вырастить из ничего ни сосуда, ни кости, это не моя сила и ничья не сила. Я взяла тот слабый ток, что ещё шёл к стопе, и усилила его: подтолкнула кровь идти туда, куда она сама уже почти не шла, помогла ткани удержать форму ещё сутки, ещё двое, пока сосуд окрепнет и возьмёт на себя. Это долгая работа, и она стоит дорого — не человеку, мне. После сильной работы у меня самой падает тепло, тяжелеют лапы, и ближние тела я начинаю слышать как один общий шум, будто уши забило. Так и вышло: когда я отняла лапу, у меня подрагивали пальцы и мутило от чужого гула больницы — сотни тел вокруг, каждое со своим током, и все разом. Я посидела в тени, пока прояснилось. Это нормальная цена. Я к ней привыкла за век.

К утру нога порозовела до самой стопы.

Пока светало, я сидела в углу палаты и слушала не одного Павла, а всю больницу разом, как слушают дальний дождь. Больница — это много тел под одной крышей, и все они говорят сразу. Я редко бываю в таких местах и всякий раз заново дивлюсь, до чего там густо от чужого страдания и чужой работы: вот кто-то отходит по коридору, тихо, ровно, тело устало и не держится, и рядом сидят, держат за руку, и это правильно, так и надо уходить; вот кто-то, наоборот, ломит на поправку, молодой, злой на болезнь; вот сёстры на ногах вторые сутки, и тела их держатся на одном упорстве

да на плохом кофе. Я всё это слышала и ничего не трогала — не моё, чужая налаженная работа, куда мне лезть. Я пришла к одной ноге. Но, слушая всех, я лучше понимала одного: Павлово тело было из крепких, из тех, что не сдаются, — и оттого чужому в нём было особенно удобно прижиться, потому что оно нашло себе хозяина под стать, упрямого, не отдающего своего.

Врач, что пришёл на обход, — молодой, невыспавшийся, с хорошими руками, я слышала по тому, как он трогал, — постоял над ногой дольше, чем стоял вчера. Померил, послушал, позвал старшего. Старший тоже постоял. Они говорили тихо, теми словами, которых я не знаю, но по телу их я слышала, что они удивлены и что удивление их — доброе, рабочее: они ждали, что придётся резать, а резать пока не надо. «Держится лучше, чем должно», — сказал старший. Я запомнила эти слова, потому что они были правдой, всей правдой, до самого дна, только я тогда услышала в них одно, а надо было — другое.

Лучше, чем должно.

Тогда я приняла это как похвалу своей работе. Я и вправду хорошо работаю, лучше всех, кого знаю, — это не хвастовство, это ремесло; Пёс гордится тем, что верно узнаёт, Ворон — тем, что помнит точно, а я горжусь тем, что руки мои знают, когда ещё не поздно. И вот было не поздно, и я успела, и нога, которую собирались отрезать, розовела до стопы. Я сделала своё дело. Так я думала, сидя в тени боль-

ничного коридора, усталая и довольная.

Надо было услышать иначе. «Лучше, чем должно» — это ведь не про то, что хорошо. Это про то, что не сходится. Тело не бывает лучше, чем может; оно бывает ровно настолько, насколько в нём есть на что опереться. Если ниже раненого сосуда тепло держится лучше, чем этот сосуд способен дать, — значит, тепло берётся не только оттуда. Значит, к тому, что тянет само тело, прибавилось что-то ещё. Я это услышала в ту первую ночь — краем, как слышат далёкий шум и списывают на ветер. Под стопой держалось чуть больше жизни, чем я в неё вложила и чем давал сосуд. Совсем чуть. Я решила, что ошиблась в счёте, что тело крепче, чем показалось. Приложила ещё раз. Списала на заживление.

Я потом сто раз возвращалась к той ночи. Не было там ничего скрытого от меня. Всё, что я узнала после, — с болью, с виной, ценой Павловой ноги, — всё это уже было слышно в ту первую ночь, в тех словах старшего врача. Просто я хотела услышать похвалу и услышала похвалу.

Павел проснулся к вечеру. Пришёл в себя тяжело, как приходят из-под глубокого лекарства, — долго не понимал, где он, потом понял и первым делом посмотрел не на лицо сестры, а вниз, на ногу. Увидел, что она на месте, под аппаратом, но на месте, и я услышала, как в нём что-то отпустило — не радость, а то рабочее облегчение человека, у которого не сломали инструмент до конца.

Я слушала его всего, пока он приходил в себя, и тело го-

ворило про него больше, чем он сам про себя знал. Это было тело человека, который тридцать лет работал руками и телом отвечал за работу: плечи, посаженные под тяжесть, ладони с давними рубцами и вьевшейся металлической пылью, спина, привыкшая не разгибаться подолгу. И в этом теле не было страха смерти — я такой страх узнаю, он идёт снизу, из живота, холодной волной. У Павла его не было. У него был другой страх, выше, в груди, — страх остаться негодным. Он не боялся умереть. Он боялся стать тем, кого возят, кормят, обходят. Это я услышала прежде, чем он открыл глаза, и это оказалось главным про него, главное всего, что он потом наговорил.

— Не отрезали, — сказал он. Сипло, но ясно. Не «я жив» — «не отрезали». Я это тоже запомнила.

— Пока нет, — сказала Ольга.

Он полежал, собираясь с силами, и сказал то, что говорит человек его склада, — я потом узнала, что он слесарь, чинит заводские машины, и что у него на всё один закон: если можно починить, чинят.

— Значит, будем чинить, — сказал Павел.

Он ещё не знал, что чинить его уже начали не только те руки, о которых он думал. И я не знала, до чего доведёт это «будем чинить». Знала только, что нога держится лучше, чем должно, и что мне это приятно.

Приятно — вот с чего всё началось. Не со зла. Не с ошибки даже. С того, что мне было приятно, что я успела.

Глава вторая. Перелом, которого не было

Первый месяц Павлова нога заживала так, что молодой врач перестал прятать удивление.

Я приходила через ночь, иногда через две — не в самую больницу уже, а после, когда Павла перевели в общую палату, а потом отпустили домой с аппаратом на голени. Дом у него был обыкновенный, на окраине, две комнаты, инструмент по стенам, запах металла и машинного масла, въевшийся в стены за годы, — так пахнет от человека, который всю жизнь что-то чинит руками. Ольга перебралась к нему на первое время, спала на кухне, варила, меняла повязки, ругалась, когда он вставал без костыля. Я работала ночью, когда все спали. Приложу лапу к голени, послушаю, подтолкну, где тело не дотягивает, — и ухожу до света. Он меня в те недели почти не видел; знал, что сестра привела «какую-то знахарку с болота», и не спорил, потому что нога заживала, а спорить с тем, что работает, не в его правилах.

Работать в чужом спящем доме я привыкла за век. Люди спят тяжело, глухо, не чувствуя, как рядом кто-то слушает их кровь; и это хорошо, потому что при бодрствующем работать труднее — бодрствующий мешает своим страхом, своим желанием, чтоб помогло, а желание сбивает ток не хуже боли. Я приходила, когда в доме гас последний свет, сажу-

лась у его кровати на низкую скамейку, что Ольга ставила мне, сама не зная зачем ставит, — просто чувствовала, что кто-то будет сидеть, — и клала лапу на голень поверх повязки. И слушала. Дом вокруг тикал своими ночными звуками: остывал чайник, оседали половицы, где-то за стеной капало. Я эти звуки не слушала. Я слушала одно место в одном теле, час, другой, пока не начинало светлеть, и уходила прежде, чем Ольга вставала топить.

Заживала она хорошо. Слишком хорошо — но это «слишком» я тогда клала на свой счёт, как кладут на свой счёт удачу.

Кровоток к стопе выправился раньше срока. Мягкие ткани, что висели на волоске, взялись и пошли. Отёк сходил ровно. Рана закрывалась чисто, без нагноения. Я держала место, тело отвечало, и ответ его с каждой ночью был крепче — я приписывала это тому, что вовремя успела, что Павел крепкий, что тело слесаря привыкло к нагрузке и потому тянет лучше конторского. Всё это правда. Крепкий. Привык. Тянет. Только тянуло чуть больше, чем я в него вкладывала, — и это я слышала не в первую ночь, как соврала бы, если б хотела себя выгородить, а слышала с самого начала и всякий раз отводила в сторону.

Расскажу одну из тех ночей, чтоб было видно, как это шло. Дом спит. Я сижу на низкой скамейке у Павловой кровати, лапа на голени поверх повязки. Слушаю. Кровоток к стопе — хорош, слишком хорош; отмечаю, отвожу: заживает. Отёк

— сходит ровнее, чем сходил бы; отмечаю, отвожу: крепкий. Кожа у края раны — берётся гладко; отмечаю, отвожу: повезло с раной. Всякий раз я слышу «слишком» и всякий раз кладу ему объяснение, простое, доброе, лестное мне: моя рука, его крепость, удача. И иду дальше, довольная. Так знахарка обманывает себя не хуже больного: больной не хочет слышать, что умирает, а знахарка — что вылечила слишком хорошо. И то и другое — нежелание слышать неудобное, только больного за это жалеют, а знахарку надо бы бить.

А в ту ночь, о которой расскажу, отвести не вышло. В ту ночь я дошла до кости.

Мягкие ткани лгут легко: они молодые даже у старого, они меняются быстро, по ним не прочтёшь возраста наверное. Кровь тем более — кровь это доставка, сегодня одна, завтра другая. А кость не лжёт. Кость — медленная память тела. В ней записаны все переломы, вся нагрузка, все годы; кость держит то, что кожа давно забыла. Я это знаю лучше всего на свете, я кость читаю, как иные читают лицо. И потому, когда сращение на Павловой голени пошло быстрее, чем я ждала, я приложила к самой кости — послушать, как она берёт.

Большеберцовая срасталась. Свод перелома затягивался мозолью, тело сводило обломки — грубо, как сводит спешка, но верно. Это было правильно, это было своё. А чуть ниже, там, где малоберцовая, тонкая, шла к щиколотке, — там кость отвечала не так.

Я приложила ещё раз. Кость под моей лапой держала

старое сращение.

Не свежее, не этой травмы. Старое — заросшее давно, гладкое, обношенное годами, с той небольшой кривизной, какая остаётся, когда ломают в детстве и не правят, а срастается само, вкось, и человек потом всю жизнь ходит на этой чуть кривой кости и не помнит уже, когда падал. Пятнадцать лет такому сращению, может, двадцать. Оно было старше Павловой аварии на целую жизнь.

Я кость читаю вернее всего, что умею, и потому знаю, чему в ней можно верить. Мягкое лжёт, кровь меняется, а кость складывает в себя годы честно, слой за слоем, как дерево кольца. По кости я говорю человеку его возраст точнее, чем скажет его лицо; говорю, где он падал ребёнком, где надрывался взрослым, чем болел так, что и сам забыл. За век я не ошиблась в кости ни разу — не потому, что так хороша, а потому, что кость не умеет притворяться. И вот эта кость под моей лапой не притворялась. Она честно несла чужую жизнь: чьё-то детское падение, чью-то давнюю кривизну, чьи-то годы ходьбы на неуправленном сломе. Всё это было записано в кости, которую три месяца назад начисто перебило заводское железо и которую врачи сложили заново из осколков. Свежесложенная кость не может помнить детства. А эта помнила. Чужое.

Я отняла лапу. Потом приложила снова, потому что первый раз не поверила.

Держалось. Гладкое старое сращение там, где три месяца

назад была свежая, начисто перебитая железом кость, там, где врачи сводили осколки и ставили штифт. Кость не может состариться за три месяца. Кость не отрачивает себе прошлого, которого не было. Свежий перелом срастается свежей мозолью, шершавой, молодой, — я такую слышу как молодую; а эта была старая, слежавшаяся, с историей.

Я села рядом с его кроватью в темноте и стала думать, как думаю над телом: не «что это значит», а сперва — что именно я слышу. Слышала я вот что. Одна кость Павлова — большеберцовая — заживала своей молодой мозолью, как положено. Другая — малоберцовая — несла на себе старое сращение, которого у Павла быть не могло, потому что Павел, я потом спросила, до завода ноги не ломал ни разу. Две кости в одной голени. Одна — с Павловой историей. Другая — с чужой.

Я проверила ещё раз. Потом ещё. На третий перестала думать, что ошиблась.

Тогда я сделала то, что делаю, когда тело говорит несурязицу: пошла от кости обратно, вверх, перечитывая всё, что слушала эти недели, — и то, что я списывала на крепость Павла, легло в один ряд. Кровоток, что тянул к стопе чуть сильнее, чем давал сшитый сосуд. Мышца, что отвечала на пробную нагрузку не Павловым рисунком — не так, как отвечает нога слесаря, привыкшего стоять на левой у станка, а по-другому, по чужой привычке, будто под ней был другой хозяин, ходивший иначе. Кожа, что закрывала рану слишком

ровно, слишком гладко для такого разрыва. Я всё это слышала. Всё списывала. На заживление, на крепость, на свою удачливую руку.

Не было там моей удачливой руки. Вернее, была — но не только она.

Я не стала будить Павла. Что ему сказать? «В твоей ноге кость с чужим прошлым»? Он бы решил, что знахарка с болота выжила из ума. Да я и сама ещё не знала, что говорить, — знала только, что услышала, а услышанное над телом надо сперва проверить, а не выкрикивать. Я досидела до света, приложив лапу к его голени, слушая, как две разные истории живут в одной ноге и обе тянутся жить. Тело было тёплое, ровное, довольное. Ему было хорошо. Оно заживало лучше, чем должно, — и теперь я наконец услышала в этом «лучше, чем должно» не похвалу себе, а то, что там было с самого начала: не сходится.

За стеной завозились, встала Ольга — рано, ещё затемно, как встают сиделки. Я услышала её шаги, звяканье чайника, и по телу её, сонному, тяжёлому, поняла: она сегодня уедет к себе, решила, что брат пошёл на поправку и можно оставить его одного. Так люди и делают: чуть отпустит беда — расходятся по своим жизням, и это правильно, нельзя всю жизнь просидеть у чужой кровати. Она не знала, что как раз в это утро я нашла в брате чужую кость. Не знала и хорошо: что бы я ей сказала? Она увезла бы с собой не облегчение, а новый ужас, которому и помочь-то нечем. Я решила тогда

молчать перед Ольгой до последнего — и потом почти всё время молчала, и это было верно: её беда была простая, сестринская, за неё держаться легче, чем за нашу. Я оставила ей простую.

Под утро Павел проснулся, увидел меня у кровати и не испугался — привык, что «знахарка» приходит по ночам.

— Ну что, — сказал он сипло, кивнув на ногу. — Держится?

— Держится, — сказала я. И это было правдой, всей, до дна, и оттого страшной. — Слишком хорошо держится, Павел.

Он не понял. Люди не слышат в «слишком хорошо» беды; для них хорошо есть хорошо, а лучше есть лучше. Он усмехнулся, довольный, и пошевелил пальцами на больной ноге — они шевелились, все, чисто, как не должны были после такого.

— Так это ж славно, — сказал он. — Чем лучше, тем славнее. Чинить так чинить.

— Чинить так чинить, — повторила я за ним, тихо, и он не слышал, что я это сказала не как он.

Для него «чинить» значило вернуть, как было. Он и жил этим тридцать лет: приходит сломанное, ты возвращаешь его к тому, чем оно было до поломки, и оно снова работает, и все довольны. Простой, честный закон, я его уважаю. Но с телом этот закон только до времени. Кость Павла возвращали к тому, чем она была, — и не вернули, а вернулось на её место

чужое, и стало работать, и он был доволен. Вот чего он не мог знать, стоя над своей шевелящейся стопой: что «работает» и «твое» — не всегда одно и то же слово. Я это знала. И ещё не знала, как ему это сказать так, чтоб он услышал, а не отмахнулся, как отмахиваются от ворчливой знахарки.

Я не ответила. Я смотрела, как шевелятся пальцы на ноге, которая заживала чужим прошлым, и думала, что чинить я, кажется, начала не только то, что ломалось у Павла.

Глава третья. Живого слишком много

После той ночи я стала слушать Павлову ногу не как заживающую, а как незнакомую. Это разные способы слушать. Жывающую слушаешь, чтоб помочь; незнакомую — чтоб понять, что перед тобой. Я потеряла на этом целую ночь работы: не подталкивала, не держала, только слушала, слой за слоем, от кожи до кости и обратно. И к утру у меня набралось не одно чужое, а четыре.

Я разложу их, как раскладывала тогда, потому что дальше без этого не понять. Тело — не одна река; в нём много токов, и каждый можно услышать отдельно, если не спешить.

Первое — кровь. К стопе шёл кровоток, которого сшитый сосуд дать не мог. Врачи сосуд свели, но свели на пределе, я это слышала с первой ночи; он тянул, сколько мог, а к стопе приходило больше, чем он тянул. Значит, кровь шла ещё каким-то путём, помимо него, — ровно, упорно, будто там была своя привычка гнать кровь именно так, старая, не Павлова. Это был первый чужой ток: сосудистый. Он держал стопу тёплой.

Второе — кость, о которой я уже сказала. Старое сращение на малоберцовой, гладкое, давнее, с чужой кривизной. Оно несло рисунок перелома, которого у Павла не было. Второй чужой: костный.

Третье я нашла в мышце. Икра отвечала на пробную на-

грузку — я легонько давила, слушала, как тянется, — и тянулась она не Павловым рисунком. Павел всю жизнь стоял у станка на левой, я это по нему слышала: у него своя привычка нагрузки, свой перекося, левая крепче правой в одном определённом месте. А мышца под моей лапой отвечала по другой привычке — так тянется нога того, кто много ходил, а не стоял; кто носил тяжесть иначе. Чужой рисунок движения. Не чужое сознание — сознания в мышце нет, мышца это память движения без биографии, — а чужая память движения. Третий: мышечный.

Четвёртое — кожа и рубец. Рана закрывалась. Но закрывалась она слишком ровно, слишком гладко, слишком успешно для такого разрыва; рубец ложился чистый, будто тело умело затягивать раны лучше, чем умеет Павлово тело. Рубец — доказательство, что тело не вернулось назад, а прошло через повреждение и пошло дальше; и вот это доказательство было не Павлово. Четвёртый: кожно-рубцовый.

Четыре тока, четыре чужих способа тела продолжаться, и все — в одном месте, в одной раненой голени, поверх и внутри Павлова собственного, ещё живого, ещё тянущего.

Я сидела над этим и впервые за очень долгое время не знала, что делать руками. Руки мои знают, когда ещё не поздно, — это моя гордость, не тщеславие, ремесло. А тут они знали только, что живого слишком много. Не слишком сильное сердце. Не слишком много клеток. А несколько разных способов быть живым в одном теле, и я не могла сказать, где

кончается Павел и начинается то, другое, потому что спросились они уже так, что нога держалась ими всеми вместе.

Тут надо сказать прямо, чтоб после не искать себе оправданий. Я не позвала чужое. Я хочу, чтоб это было понято верно: я не звала ни костного, ни сосудистого, никого. Я не умею звать мёртвое и не стала бы. Я сделала другое, и это хуже, чем позвать, потому что позвать — это поступок, а я не совершала поступка. Я слишком долго держала открытым место, которое Павлово тело уже не могло заполнить само. Сосуд не дотягивал до стопы — я держала стопу живой, ждала, что сосуд окрепнет. Он не окреп настолько. А место осталось открытым: живое, тёплое, требующее, чтобы его заполнили, — и я держала его открытым ночь за ночью. И к открытому, тёплому, требующему потянулось то, что само не закончило жить. Не ко мне. К месту. Я не приманка. Я — дверь, которую слишком долго держали приоткрытой, и я даже не знала, что держу дверь.

А дверь — это не только про Павлову ногу. Я живу у Порога, где живого и неживого разделяет одна доска, и всю жизнь думала, что моё ремесло к тому Порогу отношения не имеет: он там, у Избушки, большой, страшный, а я тут, при чужой голени, делаю малое, тихое, честное. И вот оказалось, что дверь я ношу в самих руках. Что то самое, чем я держу живое живым, — это и есть приотворённая створка, только маленькая, с ладонь, и что за пять веков я приоткрывала её тысячи раз и всякий раз закрывала вовремя, потому что те-

ло успевало взять своё. А тут не успело. И створка осталась открытой ровно настолько, чтоб в неё вошло чужое. Я всю ту ночь просидела с этой мыслью, и мне было холоднее, чем от любой работы, потому что впервые за век я поняла: не Порог у Избушки страшен, а тот, что я, не думая, отпираю своей же лапой.

Я не пошла в ту ночь к своим — ни к Псу, ни к Ворону, ни к старой. Надо было бы; я потом корила себя, что не пошла. Но мне было стыдно. Тот, кто век гордился, что знает, когда ещё не поздно, не идёт сразу признаваться, что проглядел. Я решила сперва проверить всё сама, до конца, а уж потом нести к огню. Это была вторая моя ошибка после первой, и обе — из гордости. Гордость у меня, оказалось, не меньше, чем у Пса с его нюхом; просто моя тише.

В те дни он уже тянулся к работе, как тянется к воде отвыкший пить. Ольга принесла ему по его же просьбе ящик с мелочью на починку — соседи прознали, что Павел дома, и понесли: чайник, что не грел, замок, что заело, детскую коляску со сломанным колесом. Он сидел за столом на здоровой ноге, больную вытянув, и чинил, и лицо у него делалось при этом молодое, отпущенное. Я слушала его в такие часы и слышала, как всё в нём выправляется от работы вернее, чем от любой моей ночной подпорки: руки заняты, голова при деле, человек снова нужен. И одновременно слышала, как под столом больная нога держит его вес на четырёх чужих мёртвых, пока он, счастливый, чинит соседкину коляс-

ку. Двойное это было слушание, и от него никуда было не деться: верх человека выздоравливал по-настоящему, а низ выздоравливал ложью.

К вечеру Павел решил проверить ногу сам, по-своему, по-слесарному: встал без костыля.

Ольга не успела прикрикнуть. Он поднялся, перенёс вес на левую, на больную, — и не осел. Стоял. Три месяца назад эту ногу собирались отрезать; месяц назад он на неё не наступал; а теперь он стоял на ней, придерживаясь за стол разве что для вида, и на лице у него было то тихое торжество мастера, у которого машина завелась.

— Гляди, — сказал он Ольге. И мне, потому что знал уже, что я тут, в углу, слушаю. — Держит. Я ж говорил — чинить так чинить.

— Рано тебе стоять, — сказала Ольга, но без силы, потому что он стоял, и это было видно.

Я слушала и её тоже, пока она смотрела на брата. В ней радость мешалась с чем-то, чему она сама не знала имени, — с той тревогой, что встаёт в здоровом человеке, когда чужое выздоровление идёт не по-людски быстро. Тело её насторожилось раньше ума. Она не понимала почему, но радовалась не до конца, придерживала радость, как придерживают дверь, за которой сквозит. Я тогда подумала: вот, и она слышит, только телом, глухо. Люди больше знают, чем позволяют себе понять. Ольга всю жизнь ходила за больными — сперва за матерью, потом за братом, — и в ней сидело чутьё

сиделки: она знала, как заживают по-настоящему, медленно, с откатами, с нытьём и жаром, а тут заживало гладко, ходко, без единого отката, и это гладкое пугало её сильнее, чем пугала бы гниль. За гнилью она знала, что делать. За этим — нет.

Я слушала его ногу, пока он стоял, и слышала, как все четыре чужих тока разом взялись держать его вес — вместе с Павловым, помогая Павлову, лучше Павлова. Нога не просто заживала. Она работала. Работала лучше, чем должна, лучше, чем позволяло то, что от неё осталось после железа. И вот это — не гниение, не чернота, не боль, а нога, которая работает всё лучше, — было самое страшное, что я слышала за очень долгий свой век. Потому что гниющее тело просит помощи, и я знаю, что делать. А тело, которое становится крепче, чем может, — оно не просит ничего. Оно довольно. И человек на нём стоит и радуется.

Ольга в тот вечер напекла — от радости, что брат встал; наставила на стол, звала соседку, и в доме на час сделалось шумно, тепло, по-живому. Павел сидел во главе стола, вытянув под ним больную ногу, и принимал поздравления с тем степенным довольством, с каким мастер принимает похвалу удавшейся работе. Соседка ахала, что вот-де какие теперь травницы пошли, поставили на ноги, а врачи резать хотели. Ольга поддакивала, но я слышала, как в ней та же придержанная радость: она была рада и не могла нарадоваться до конца. Я сидела в своём углу, невидимая, и слушала, как за

общим весёлым столом одна нога под столешницей тихо держится на четырёх чужих мёртвых, и никто, кроме меня, этого не слышит, и все едят, смеются, славят выздоровление. Мне было среди этого веселья холоднее, чем на любом болоте. Так, наверное, чувствует себя один трезвый среди хмельных: всем хорошо, а ты один знаешь, что будет наутро.

— Работает, — сказал Павел.

— Работает, — сказала я. И, потому что иначе не умею, добавила правду: — Поэтому опасно.

Он засмеялся. Решил, что знахарка ворчит, как ворчат все знахарки, которым лишь бы напугать. Сел, довольный, вытянул ногу. А я осталась при своей правде, которую он не услышал, потому что человеку трудно испугаться того, что работает. Мне и самой было трудно. Я держала это тело в руках и знала: то, что делает его лучше, — не его. Живого в нём слишком много. И меньше всего в этом «слишком» было Павла.

Глава четвёртая. Один

Я привела Пса. Не Ягу — Пса.

Про это тоже скажу прямо, потому что тут начинается уже моя вина, а не моя удача. Позвать надо было Ягу — старую, всё видящую, ту, кто держит Порог. Но я не позвала. Я сказала себе: это тело, а тело — моё дело, не Порога; нечего звать хозяйку, пока не пойму сама. Так я думала, и думала честно, и была неправа ровно так, как была неправа когда-то Яга, когда решала за всех в одиночку. Я заперла вопрос внутри своей области, потому что в своей области я хозяйка и не люблю, когда в неё лезут. Позвала Пса — он свой, он тихий, он умеет то, чего не умею я: не читать тело, а узнавать человека.

Пёс пришёл ночью, тем же путём, каким ходит теперь всюду, — сам по себе, старый, седой на морде, с тем тяжёлым спокойствием, что осталось в нём после Девочки. Павел не спал — нога не давала, не болью, а тем зудом заживления, который хуже боли. Он увидел на пороге большого чёрного пса и не испугался; удивился, что пёс вошёл сам, без хозяйна, а потом Пёс сказал ему пару слов, и Павел удивился ещё раз, коротко, как удивляются раз и переходят к делу, потому что на большее удивление у человека, которому три месяца собирают ногу, уже нет сил.

— Говорящая собака, — сказал Павел. — Ну ладно. К

знахарке с болота говорящая собака в самый раз. — Он оглядел Пса. — Тоже лечить пришёл?

— Нет, — сказал Пёс. — Смотреть.

Павел усмехнулся — не испугу своему, а тому, во что вляпался. Я слушала, как это в нём улеглось: другой бы человек, увидев в ночи говорящего пса, зашёлся бы, а этот только пересчитал заново, во что попал, и принял к сведению, как принимают к сведению, что деталь оказалась хитрее, чем думал. Он и с чудом обходился по-слесарному: раз оно тут, стоит и говорит, — значит, оно часть механизма, и надо понять, какая. Я потом не раз убеждалась, что этот его склад — не тупость, не толстокожесть, а особая крепость: человек, которого не собьёшь с толку самим фактом непонятного, потому что он привык, что непонятное — это просто ещё не разобранный. Такому можно говорить правду. Он её не уронит.

Он не стал слушать ногу — он не умеет слушать ногу, это не его. Он сделал своё: обошёл Павла, обнюхал — руки, дыхание, голову, больную ногу, — не грубо, ведя носом, как читают долгий след. Я стояла в стороне и не мешала. Мне важно было, что он скажет, потому что я к тому часу уже боялась одного: что чужие токи в Павловой ноге — это не просто чужое тело, а чужой кто-то; что я своей дверью впустила в него не четыре способа тела продолжаться, а четырёх человек. Я слышу тело, но не слышу, один ли в нём человек. Это слышит Пёс.

Он нюхал долго. Дольше, чем нюхал Аню тогда, при Вере. Я видела, что ему трудно, — в Павле было много запахов, чужих, наслоённых, и он их все перебирал, отделяя один от другого, как отделяю я токи. Потом сел.

Я знаю Пса давно, дольше, чем он знает себя нынешнего. Мы с ним из одной службы, только он служит узнаванием, а я — рукой. И я умею читать его так же, как читаю тело: не по словам, по тому, как он держит себя. Пока он нюхал, я слушала не Павла, а Пса, и слышала, как ему трудно и почему трудно. Не оттого, что запахов много, — оттого, что он боялся того же, чего боялась я. Он тоже помнил Девочку. Он тоже один раз в жизни учуял в человеке не одного человека и не сумел вовремя сказать, что делать, и с той ночи носит это в себе, как я ношу своё «лучше, чем должно». И вот он снова стоял над телом, в котором намешано чужого, и нюхал так осторожно, будто боялся учуять то самое, второй раз за век. Я вжала когти в пол и ждала вместе с ним. Мы двое, старые, виноватые каждый по-своему, ждали от его носа приговора одному тихому слесарю, который лежал и не знал, что над его ногой сошлись две наши давние вины.

— Ну? — сказал Павел. И, помолчав, спросил то, что, видно, копилось в нём с той ночи, как я сказала «слишком хорошо держится»; спросил не меня, знахарку, а собаку, будто собаке виднее: — Я ещё я?

Он спросил это спокойно, по-слесарному, как спрашивают, цела ли деталь. Но я услышала телом, как под спокой-

ствием у него дёрнулось сердце. Он уже чуял, что с ногой неладно не по-медицински. Мужик, который чинит машины, знает, когда в механизме завелось лишнее.

Пёс посмотрел на него снизу вверх.

— Ты, — сказал он.

Одно слово. Я выдохнула — оказалось, я всё это время не дышала, вжав когти в пол так, что после не сразу их разжала. «Ты». Павел — один человек. Не четверо. Не мешанина людей в одной шкуре. Один, целый, тот самый слесарь Павел, что стоял у станка на левой ноге и растил сына, — вот он, один, Пёс его узнаёт как одного и ручается.

Я скажу, отчего это «ты» было для меня важнее всего, что говорилось той ночью. Есть страх хуже смерти, и я его знаю по телам: страх перестать быть собой. Тело умирает — это ясно, у этого есть конец, и человек с концом мирится. А вот стать в собственной шкуре не собой, впустить в себя чужого так, что уже не разобрать, где ты, — этого тело боится глубже, чем смерти, и правильно боится. Я боялась за Павла именно этого, а не смерти: что чужое, войдя в ногу, поползёт выше, в него самого, и однажды на кровати будет лежать уже не Павел, а мешанина, носящая Павлово лицо. Пёс это и снял одним словом. «Ты». Что бы ни случилось с ногой — сам человек цел, не размыт, не подменён. Смерти можно бояться дальше; а вот этого, худшего, — уже нет. Оттого я и выдохнула, потому и не сразу разжала когти.

— В каком смысле «ты»? — не понял Павел. — Я и так

знаю, что я — я. Ты мне скажи, что с ногой.

— С ногой — не ко мне, — сказал Пёс. — С ногой к ней. — Он мотнул мордой в мою сторону. — Я про другое. В тебе намешано чужого. Много. Я чую — не одна жизнь в этой ноге. Но человек тут один. Ты. Что бы там ни намешалось — оно не стало тобой и не сделало из тебя других. Ты остался один. Это я говорю твёрдо, за это ручаюсь.

Павел долго молчал. Переваривал. Потом сказал — и я запомнила, потому что в этом был весь он:

— Намешано чужого. — Он поглядел на ногу. — В машину, если чужую деталь поставить, она работает, а машина всё равно моя. Так?

— Нет, — сказал Пёс. И тут он был точнее меня, хоть и не читает тела. — Деталь — не жизнь. Ты не про то спросил, что я тебе ответил. Ты — один. А чужое в тебе — живое. Это разные вещи, и вторая тебе ещё аукнется. Но первое твёрдо: ты — ты.

Я слушала их и понимала, что Пёс сделал ровно то, что умеет, и ровно то, что нужно, — и ни на волос больше. Он сказал, кто Павел. Не сказал, что делать с ногой, что кому принадлежит, чьи это чужие токи. Раньше, до Девочки, он бы полез дальше: раз узнал — значит, решил бы, впускать чужое или гнать. Теперь не полез. Узнал — и остановился на узнавании. Он вырос на той ночи, дорого вырос. «Ты» — и всё; дальше не его.

Мы вышли с ним во двор, когда Павел задремал. Ночь

стояла тихая, окраинная, с редкими собаками где-то и запахом остывающего железа от дома. Пёс сел у крыльца, и я села рядом, и мы долго молчали, как молчат те, кому не надо говорить, чтоб понимать друг друга.

— Ты позвала меня, а не её, — сказал он наконец. Без укора. Просто назвал, что есть. — Я пришёл. Но ты знаешь, к кому надо.

— Знаю, — сказала я.

— Это как тогда, — сказал Пёс. Он не назвал Девочку по имени, он её и не звал никогда по имени, для него она осталась запахом, который он не уберёт. — Живое в открытом месте. Я это уже нюхал. Один раз. И мы тогда решали сами, без неё, каждый в своём углу, и вышло то, что вышло. — Он посмотрел на меня своими старыми глазами. — Не делай, как мы тогда. Не запирайся со своим телом одна. Позови старую.

Я не ответила. Он был прав, и от его правоты мне было стыдно, потому что я и сама всё знала и всё равно тянула. Мы посидели ещё. Потом он поднялся и ушёл в темноту, сам по себе, как ходит теперь всюду, а я осталась во дворе слушать сквозь стену, как спит Павел и как в его ноге чужое тихо, довольно, уверенно держит то, что ему уже не принадлежит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.